

Сергей Григорьев

С Т А Р У Х А
/этюд/

Как странно, что смерть или просто старость являются лишь предпосылкой для благорасположения, отнимая у жизни ее выстраданную, глубоко скрытую нерасположенность. Разумеется: мы живем лишь для того, чтобы, со-старившись умереть и пожать непосеянное на нами же утоптанной земле, а не для того, чтобы жизнь еще долго рыдала о нас и после смерти.

/Из "Мыслей"/.

Она прожила почти всю свою жизнь и дожила до старости. Нет, мне хочется кратко сказать наоборот: она не жила и дожила, отдав этим дань не столько жизни, сколько процессу существования. Жить, где-то по дороге сгребая, а где-то смазывая всё по пути - вот в чем заключалась вся нехитрая цель.

Но всему есть свой конец, как той дистанции, которую ты должен преодолеть. И если одолел ты первую ее треть, подернутую легким утренним туманом, и перешел во вторую, покрытую густым и вечерним, то третий твой ход, сопровождаемый старческим и ночным, может перейти лишь в голую бездину. И вот ее надо было преодолеть как первое серьезное препятствие. То был вопрос о жизни или смерти, и недаром удрученная этой проблемой старуха прибегала к словесным заклинаниям.

Каждое живущее в нас слово есть и потенциально живущая в нас мысль. Но каждое слово как еще не воплотившаяся мысль представляет собой поначалу чистейший туман, пока какой-нибудь проникший в наши души автор его не разгонит или, наоборот, не сгустит. Определить одно несчастно чувствующее себя слово другими словами, а не продолжать до бесконечности скучное и отъединенное течение его бытия, значит запустить луч света, значит создать своего рода перпендикуляр, ибо параллель - это лишь новая тьма и длиниота.

И тут мне захотелось спросить о старике: где он и кто?

"Перечеркнул" ли он старуху или "продолжил" ее? Но я скажу лишь одно: он был. Был так же, как была и она. А быть — что может быть проще? Быть или не быть — почти одно и то же /с той лишь только разницей, что первое ~~ненаписано~~ обходится дороже, тогда как второе вообще ничего не стоит/. Бытие определяет сознание, а сознания, увы, нет. Правда, бытию на это глубоко наплевать, его дело петушиное: пропел, а там хоть и не рассветай. Но я более склонен думать, что даже и петухом здесь не пахнет, потому что ночью петухи не поют. Значит, бытие не столько "определяет", сколько, наоборот, темнит и без того затмленное сознание, создавая ту неопределенность, которая определенно является злом.

И тут я бы хотел отдохнуть душой на слове: "определенно". Наконец-то какая-то "определенность"! Наконец-то я отошел от бессмысленного брожения, которое выдается за рождение новой жизни, — брожения, которое не определяет, а лишь газирует мозг. Но в этом газировании и заключается весь низменный смысл бытия.

Негазированное бытие! Да разве такое может быть? О, сколько раз должен прокричать петух, чтобы наконец-то взошло солнце и рассеяло бы всю углекислоту, копившуюся десятилетиями!

Негазированное бытие! Я как-будто нарочно пытаюсь создать для столь уютно чувствующего себя бытия дисгармонию, и ковлю себя на мысли, какими легкими средствами я это делаю. Да, я могу лишь уязвить бытие, уничтожить же его мне не по силам, хотя бы потому, что затем мне нечем было бы жить. Я говорю: жить, а чувствовать: быть. Я бы хотел бы жить /вообще говоря, жизнь — мой идеал, как у больного и немощного петуха/ то идеал — крик под утро/, но мечта о жизни становится в такую дисгармонию к практике бытия, что хоть святых выноси. И отя жизнь всё равно увертывается от бытия, бытие довлеет над ней, а жизнь обходится сдавленными петушиными криками.

Рассмотрим же оставленный нами предмет, смирно лежащий постели после прочтенного им ряда заклинаний, — рассмотрим его как скромный пример бытия, поглотившего жизнь. Но прежде хочу сказать, что скромных примеров не бывает: есть лишь кромко-неглубокое к ним отношение, и эта затаившаяся стару-

та представляет собой, что ей и невдомек, самую настоящую субстанцию. Впрочем, можно не видеть за деревьями леса, и можно не увидеть в лице одного человека некий субстанциальный срез.

У нее не было выдающихся способностей, но каждая ее зауяжно-положительная черта подавалась ею в многократно увеличенном виде, в чем глазу неопытному и уху нечуткому трудно было разобраться. Но главное заключалось в том, что эти, окружавшие ее слышание и видение, были простыми ограниченными существами, являясь той скромной частью жизни, которая давно пала в мертвый осадок. Они относились как бы к мертвой части бытия, тихо ожидающейся своего конца.

К старухе их тянуло ее хлебосольное хваставство, которое и им давало пищу в виде изливающего на них внимания. Я понимаю: без внимания трудно жить, но если это внимание пулено лишь ради того, чтобы возвратиться к его владельцу обоженным, тогда мне хочется прервать его полет. Распределяя зесьма скромные блага, она чувствовала себя дарительницей жизни, принимая в ответ возжигаемый ей фимиам и ощущая себя на вершине. Согнать ее с этого бугорка было не легче, нежели долеть настоящую вершину.

Мне кажется, что люди группируются, кадят, стремятся занять место — строго по тому бессилию, которым они обладают. Чем ниже качество бессилия, тем круг уже, а известная его широта все-таки спасает от излишней пошлости. Ибо нередко случается, когда качество является низким, а круг тесным, что озникает как бы новый вид качества — качество с новым лицом. О это "новое" будет пожлеще всего старого. И вне его оно еще более печально и еще горше смешно. Но его не берегут как шелушу ока или как то нижнее белье, в котором далеко не уедешь, наоборот: пропагандируют как последнее достижение бессилия, од тем предлогом, что любыми достижениями всегда надо делиться. А для этого надо быть не только интеллигентным, но и общественным человеком. И я думаю, что даже настоящая интелигенция группируется не столько по принципу симпатии, сколько по более внешнему признаку, ибо на симпатии часто не хватает

и времени, ни души, ни сил. Все симпатии отданы делу. Ну, а дело не идет. И это уже не смешно.

И вот, от этих подобий жизни, мы снова возвращаемся к бытию. О, бытие безумно завидует жизни, и потому хоть через хвастовство, хоть через новую форму объединения хочет подняться со своего одинокого голого ложа и войти в жизнь. И действительно, хвастовство уже вышло и гуляет, тогда как со всякого рода объединениями дело обстоит сложнее. Там одно бессиное глупости хватает за ноги другое и не дает ему пробиться в жизнь.

В данном же случае, мы имеем дело со старческими отголосками жизни, заунывно звучащими, витающими лишь над постелью как над своим последним прибежищем и не нашедшими отражения и в каком печатном органе. Но последнее зачем? А хотя бы для того, чтобы этим вот органом можно было бы кому-нибудь для убедительности залепить. Но эта непосредственность не имела места в жизни. А вот та порхающая идеальность, так и не зевшая ни на какую реальность, ставит в тупик. О, сколько сил югило напрасно, а - наоборот! - не было пристегнуто к какой-нибудь колеснице для скорейшей доставки ее в какой-нибудь мурей.

Итак, судя по всему, наша старуха была интеллигенткой. Правда, она была интеллигенткой по мужу - но, увы, не какой-нибудь генеральшей, а всего-навсего какой-то подпрапорщицей. Но она гордилась и этим, ибо любой чин, выше низшего, уже выюк. Да, линия жизни ее была далеко не восходящей. Что же касается талантов, то они уже не срабатывали и по причине слишком частого о них упоминания, и по еще более веской причине слабости.

И тут старуха осталась одна, лишившись навязанной ей араллеи и почувствовав себя почти что в мужском чине, благо се имущество литературного подпрапорщика было отдано в ее едомство. А что это было за ведомство? "Я взял тебя из низших чинов!", - часто и без восхищения говорил он ей. Отсутствие восхищения было дурным признаком, ибо разговор был для этого не столько формой общения, сколько восхищения или, наоборот, наказания. Этот человек, как военнообязанный бытия,

знал о жизни лишь понаслышке, и, считая себя далеко не последним поводырем, писал то для погрязших масс, то для засахарившейся элиты, так и не нажив себе ни чина, ни сторонников. И правда, были и исключения в виде нескольких залетных подпоручиков и даже поручиков, уже тоже в летах, но так ничего покрупнее для себя и не налетавших, которые появлялись — одни по поводу начинки для еще не приготовленного к изданию пирога, другие, даже скучно подумать — просто так.

Как сторона до некоторой степени угнетенная, старуха, по неразрывной связи вещей, сама была угнетательницей, но ее самодурство, в силу данных ей чинов и талантов, летало не высоко, хотя желание воспарить никогда не оставляло ее. В душе она была несостоявшейся генеральшой, и мне жаль того генерала, которому вместо нее досталась в жены какая-то подпрапорщица в душе.

Внешность ее говорила о многом, но многого и не договаривала. Это было причиной определенных недоразумений, заключавшихся в том, что подозревавший недоговоренное обвинялся в исажении истины, и, конечно, в худшую сторону, ибо за противоположного рода искажение он был бы только обласкан. Разумеется, обласканных было больше, ибо стремление человека к выражению в себе и в окружающих только положительных эмоций является залогом роста и благосостояния всех. Конфронтация — во всяком случае, на этом уровне — никогда не была в моде, и если в ненужном случае меч оттачивался /я имею в виду политическую арену/, то в другом, в частном, он ржавел. И один ржал, а другой, поэтому, оттачивался.

"Давайте говорить друг другу комплименты!", — сказал пот, хотя, мне кажется, что слова эти более подходят к людям из сферы обслуживания, как то: парикмахерам, портным, и уж если я, не дай бог, скажу: сапожникам, то разрушу этим всю ллюзию, хотя нога, как таковая, ничем не хуже головы и тел. Комплименты можно отпускать по любому поводу, а вот слышать вдумываться в них по большей части случаев не хочется. Впрочем, если они адресованы тебе, тогда другое дело, тогда и сякую дрянь можно проглотить.

Конечно, все мы находимся в сфере обслуживания друг другу

га, так что разумнее будет пренебречь истиной, чем другом. Правда, это не столько друг, сколько некто другой, обслуживающий или обслуживаемый, и если когда-то жестоко пренебрегали друзьями ради истины, то теперь просто бессмысленно пренебречь другими неизвестно ради чего. К тому же их так много, а друзей почти нет. А где нет друзей, там нет и истины. Да и что такое истина? Сфера — вот вся истина, обслуживание — вот вся дружба. Придти же к идеальной сфере обслуживания — вот и вся цель.

И это действительно цель, потому что тогда все эгоистические таланты расцветут и достигнут своего потолка, а не будут мешаться под ногами. А пока — каждый по-своему мучается отсутствием этих оранжерейных условий, не в силах доказать обществу: эгоистичен ли его талант, или нет, можно ли за бескорыстие получить льготы, или — нет? Но, я думаю, доказывать не-зачем. Не доказательства нужны, а удача и случай. Судьбе, этой наперснице бытия, ничего не докажешь, это она будет всеми силами "доказывать" тебе /или, что то же: рекомендовать выбрать из одного — одно/, и если убедит, то — плохо, а с другой стороны, конечно — хорошо, потому что ты перестанешь, наконец, дергаться и поднимать пыль. Всё стремится к тому, чтобы ты поскорее отыгрался и замолк, потеряв себя, ибо теперь бытие больше не может исключать тебя из жизни, предоставляя эту черную возможность самому тебе.. А потерять себя в наше обескровленное бытием, бедное время /бедное даже с точки зрения сферы обслуживания/, значит только то, что больше ты уже ничего не найдешь, а вот чего-нибудь поменьше — сколько угодно.

Но, глядя на других, мне становится иногда очень жалко, что они еще не потеряли себя. Потеряли бы, так, вроде, стали бы немного почтеннее. Вот я, например, еще не потерял себя и потому не люблю комплиментов, а если бы потерял, то очаровывал бы очаровывался бы. Но потерять себя — это великий труд работы над собой, труд, я бы сказал, даже бесполезный, как вытягивание себя за волосы: все их вырвешь, но ни на йоту себя не поднимешь.

Вообще, люди теряют себя так, мельком, даже не за рюмкой вина, а просто за чашкой чая, как будто бы в них никогда

ничего не было, а если и было, то висело на волоске. Вся жизнь есть непрекращающаяся линия потерь, и то, что донес человек до своего смертного часа /а каждый час нашей смертной жизни – это потенциально ~~минимум~~ смертный час/, есть то благо, которого бы могло быть и неизмеримо больше, но минимум которого не отнимет уже никто. И тут ты – царь, и бог, но царь урезанный, бог оплеванный. Бытие же довлеет самому себе, и надо попасть в его пекло, чтобы полностью потерять ~~жизнь~~ себя. Но туда не пускают с подозрительной для человека приверженностью себе, туда проникают лишь люди, сложившие с себя так никогда и не бывшие на них полномочия.

Сложить же с себя полномочия генеральши и отдаться, пусть скучному, но занесенному в списки подирапортическому бытию, было той истиной, которая пленяла сама собой. Ибо лучше жить, плавая хоть в луже, чем, не живя, копить зло на берегу. А вообще жить в нашей жизни – значит лишь изживать накопленное до нас зло. И тут поневоле приходит в голову сравнение со сферой обслуживания, которое должно золотить жизнь.

Но эта сфера занимала в жизни старухи весьма скромное место. Поэтому и нарастание добра происходило крайне медленно, ибо генеральнические аппетиты, не давая покоя и вырабатывая без толку не поглаляемый ничем сок, заставляли ее предаваться тем возмущающим мертвый покой разговорам, которые, не оживляя, не создавая даже отрицательных ценностей в виде крепкого, метко пущенного слова, до однообразия били мимо цели. Да, они били мимо всякой цели, с единственной целью потрясти и уничтожить бьющий по площадям тяжелой артиллерией ее языка. Залпы, раздававшиеся изо рта, были до ужаса однообразны, но канонада достигала цели, и потрясенный подирапортический мозг, сражавшийся с врагом лишь на бумаге холодным оружием пера, будучи смят и опрокинут, переходил на ~~иные~~ язык ответных залпов. Но пле боя, усеянное крупнокалиберными неразорвавшимися снарядами /каждый из которых мог бы уничтожить сразу обе сражающиеся стороны/, обычно оставалось ни за кем, потому что победа одного была бы поражением другого, а этого никто из них не смог бы перенести.

Но зачем я об этом говорю? Разве нельзя обойти стороной

этую сторону взаимно-бессмысленных унижений? Конечно, можно. Но тогда картина была бы неполной. Какая же картина бытия без военных действий? – но, главное, без того, что, чем эти действия бессмысленнее, тем от них становишься еще слепее? Слепота есть вечный спутник бытия, его меньший брат, его крепостной человек. Бытие, заедая жизнь до слепоты, определяет такое сознание, которое потом им же и преследуется как предосудительное или преступное. Так у человека, всю жизнь остригавшего свои колючие ногти, они будут проступать до тех пор, пока он или не умрет /правда, неизвестно как/, или вдруг не лишится /в еще более фантастическом варианте/ своих позорных конечностей.

Бытие связано и с этого рода конечностями, и вообще с конечностью /хотя до конца до сих пор, в ее лице, еще никто не побеждал/. С конечностями оно связано в том тесном телесном смысле, что хочет загрести под себя всё и высидеть из него нечто, достойное своей ограниченности, если то, что оно подмяло под себя, под ним не задохнется /иначе говоря, оно кочет не столько высидеть, сколько, наоборот, усидеть/. С конечностью же в метафизическом смысле слова оно связано просто тем, что, увы, никак не может быть отправлено на свалку истории ни по теории, ни по практике, ни, тем более, по душе. Какой-то заколдованный круг очерчен вокруг него, словно оно бы было, есть и будет нечто самое дорогое, что может существовать на свете. Теория и практика тут в недоумении молчат, а душа, так всегда, бессильна. Бывало, целые классы пытались захватить эту заговоренную крепость, и что же? Сломав линию обороны и полностью разрушив вражеские позиции, они попадали в то магнитное поле власти, которая, засасывая, как болото, строила юную линию укреплений и новую иерархию бытия, по-прежнему давящего жизнь.

Последняя попытка разрушения бытия, если быть точным, была временем формирования души старухи /впрочем, если уж быть совершенно точным, то следует говорить о характере, ибо характер, в отличие от души, которая ближе к жизни, более близок к бытию/.

Она видела все: и медленное, кровавое течение бытия, захлебнувшегося, в конце концов, в пущенной им крови, и бурю, с неменьшей силой пронесшуюся над ним затем, и наступивший потом долгий ледниковый период, когда вмороженные в лед люди сидели смирно, боясь, чтобы от их движений не началось бы вдруг таяние. Но видела она все это как летописец. Да, лишь летописцы по характеру могли дотянуться до нашего, по-тихому и уже только по-хорошему бурного времени. Ибо летописец есть тот необходимый тунеядец, который первом описывает дела меча. Ибо, как повелось, где нет меча внутреннего и внешнего, там уже нет и истории. И слава богу, что мечи, наконец, снимаются с поясов, и с повесток дня.

И тут мне хочется расцеловать старуху как некую реликвию. Правда, за ней кровавая тина опрокинутого всиять бытия, ожоги бури, куски всё еще не расколотого и не отправленного в печку льда, но разве это может оттолкнуть радеющего человека, и главное — радеющего в первый раз? О, в первый раз всё можно простить. Но простишь в первый, простишь и во второй, а потом, поморщившись, в третий. А тина, ожоги и лед, это отложившееся бытие, будут глазами старухи с недоумением смотреть на твои радения. А за недоумение — какой же поцелуй? Поцелуй ведь только за открытость. И в недоумении назовут тебя дураком, и даже, может быть, скажут: радеть-то надо с умом! Извините, перестроюсь!

Да, я перестроюсь, дайте только срок! Я действительно грожу тем, что перестроюсь. Ведь перестроиться — это не просто поменять кубики в постройке: нестандартные выкинуть, стандартные поставить. Это, в идеале — снести всё и построить всё заново — из того, что было, из того, что не прейдет, но долго лежало среди льда в забытье. Да, оно не пропало, как того бы хотелось, как хотелось бы, чтобы рукописи горели или на худой конец истлевали. Вспоминая же загубленных людей, имена которых из проскрипционных списков постепенно переходят в отечественный мартиролог, мы даже и тут радеем: во-первых, над самой идеей вещи, а во-вторых, над эпиграфом к ней: "Их имена забыться не должны!" Но что значит: "не должны"? — как будто есть альтернатива! Альтернативы же нет. Где есть альтернатива,

гам высывает свою, еще одну не срубленную голову, бытие.

А вот в таком случае на альтернативу я согласен. Змей-горынич, ну-ка, выйди, скажи одну из своих последних альтернатив! Не хочет! И правильно делает. А там, того и гляди, и голова сама собой отпадет.

И слава богу, что так: всем спокойнее. Но бытию до положения одноглавого змея-горыничка еще далеко. И вот мне хочется сказать, что наша старуха есть как бы одна из клеток его — не мускульных, конечно, и тем более не мозговых, а каких-то мясных. Да и куда бы еще за всю свою жизнь смогла бы пролезть она, в какую другую историю, кроме этой? А быть безобидной частью когда-то страшного, а теперь почти мифического существа, разве на этой идее нельзя спокойно умереть, не дожидаясь чего-то непонятно лучшего?

Ну а как на это смотрит она сама? Увы, она уже не "сматривает", она попросту слепа, ибо чересчур близорукое служение бытию отняло у нее этот свет. Правда, и в том свете была изрядная доля тьмы, а потому, если вдруг во тьме нет никакого света, то это уже мелочи. Ведь главное заключается в другом, а не в каких-нибудь там глазах, которые, действительно, за всю жизнь не подали ни одной мысли, а лишь наводили на всякие мысли, словно представляя собой более уголовный, нежели человеческий элемент. Они, эти глаза, только мозолили окружающие предметы — то, в идеальном виде, на предмет их недостатимости, то, практически, как каких-то рабов — а по сути дела изнашивали самих себя.

Куда же идти дальше? Ведь слух — это уже внутреннее зрение, а если нет внешнего, представленного лишь изношенными глазами, то и от слуха остаются лишь одни торчащие уши, знаменующие собой лишь один голый мускул. Правда, как и глаз, он давно уже обмяк.

Но остаются, слава богу, другие — так сказать, неинтеллектуальные органы чувств. Начнем с наиболее капризного из них — обоняния /хотя, и вкус капризен: капризен к излишествам, а особенно к недостаткам в пище, а осязание, особенно у слепых, пытаясь заменить собой дар зрения, впадает в конфузы, в которых не решается признаться, а значит, выдвигает

альтернативу/.

Итак, возьмемся за обоняние. Да, оно было бы наказанием для чуткой души, если бы не было еще одной причиной проявить каприз жестокого характера. Ведь мимо благородное бытие особенно не любит /когда другие не любят просто/ так называемых природных сторон жизни, ибо мнит /не без оснований/, что его сведут именно с ним, с ног до головы обливающим его достоинства, как то: мундир с сапогами, да меч /в гражданской же транскрипции: пиджак, перо и галстук/. Тут же какая-то старушонка, лежащая не только без мундира и сапогов, но даже и без надлежащего, надприродного на ней, самого что ни на есть нижнего белья, выступала в защиту выделяемой ею влаги чуть ли не с точки зрения поддержания необходимой влажности в Москве. И это не было наглостью с ее стороны, потому что, действительно, кила она в Москве.

Что же дальше? А дальше в нашем меню обозначен вкус. И если обоняние есть трепетание ноздрей, бессильных уловить давным-давно и в более высоких инстанциях /я говорю о зрении и слухе/ похороненную истину, то вкус есть то утробное зрение, которое не видит до тех пор, пока не вкусит. Тогда всё вдруг озаряется и расцветает духом /правда, уже лишь химическим/ всех сорванных плодов и умерщвленных пасынков природы, а недостойная плоть как по маслу входит в достойную.

Итак, вкус как игра с умерщвленной уже природой, предвосхищается веселым причмокиванием губ, с милостивого разрешения притаившегося за ними, как удав, языка. Эти две лягушки, две зазывалы, готовы привлечь в рот всё съедобное, и даже, усыпив насытившегося удава, они, уже как две мартышки, и как бы в насмешку над спящим, готовы захихнуть в рот всё, чтогодно.

Мы отступаем к последнему ощущению бытия – к осязанию. Осязание есть то слепое копание в потемках, где каждый предмет представляется для огрубевших рук темной вещью в себе. Да, эти предметы докатились до положения вещи в себе – до вещи, когда-то сиявшей для нас. Но сияние было загнано внутрь как ювущее куда-то и нарушающее этим общий покой. И вот, мы

оказались при полном покое, но уже без всякого света, и подавляющее количество вещей ушло в подполье, то есть перешло на положение вещей в себе. А эти жалкие руки? О, если бы они тоже оказались бы вещью в себе! Но нет: они желают быть вещью для нас, — они, привыкшие держать или развращающий меч, или туляющее перо, — меч, знаменовавший когда-то освобождение, перо, звавшее когда-то к свету. Да, то была действительно высокая — зрячая и мыслящая материя, исконная вещь для всех, и прежде всего для тех, кто попал сначала в ад списков, а потом в рай мартиромога. А вот оставшееся нам осязание, как некий человек в футляре, есть вещь только для себя. Недаром оно — последний синоним бытия.

Можно ли рассчитывать на то, что через привлеченную нами для рассмотрения мясную клетку мы сколько-нибудь достаточно рассмотрели само бытие? Нет, мы только коснулись его, но саму плоть, саму мякоть, сам фон, я думаю, достаточно уяснили. Всё быстро исчезает, а вот "фоны" еще долго остаются. Действительно, все эти мясные клетки гораздо долговечнее мозговых и мускульных. Мозговые уже в могиле, мускульные еще доживают свой век, а вот на смену старым мясным приходят новые, которые расплющиваются как грибы, стремясь жить без всякого мозгового или мускульного руководства. Это, конечно, не плохо, если бы они сами не были, увы, эхом. А эхо не имеет своего голоса.

И вот бытие, оставшееся с одной плотью, заходит в тупик. Представленное на наших страницах своим ветераном — старухой, оно, конечно, ждет смерти, но в ее конкретном лице, ясное дело, пытается ее оттянуть.

И пока она будет тянуть старую резину своей жизни, мы устроим ей символические похороны. Что скажем мы над ней, этой старой плотью, которую неудачно начавшийся новый мир, не смог присовокупить к плоти мира, отброшенного вспять? Что скажем мы здесь над ней, еще трепещущей, как те ноздри, которые еще живут, но которым уже отказано в обонянии?

Прости, — скажем мы ей. — Прости, но больше не появляйся! Мы говорим тебе прости лишь по великой традиции прощения, а те потому, что мы слабы или грехи перед тобой. А если мы

чем-то грешны и слабы, то именно тобою. Мы хотим только мира и силы, справедливого и вечного мира, в святых документах которого белое названо белым, а черное — черным /а не: белое — серым, а черное — им же/. Мы хотим только святой яркости и, даже, святой темноты жизни, а не какой-то постылой стяженности, идущей от бытия. Да, мы хотим, и мы почти достигли этого. Но мы достигли этого не потому, что хотели /да, мы хотели, и хотели страшно, но нас почти не осталось, все мы — лишь в мартирологе/, а, как говорится, по независящим от нас обстоятельствам, ибо все это было даровано нам свыше. А ведь независящее от нас — это, скорее, часть бытия, нежели часть жизни. Потому, — говорю я ей, — можешь быть хоть немного довольна. Довольные ведь — добре, а с добротой легче и умереть.

Что же ответит она, эта дряблая плоть, пренебрегающая всеми благими намерениями, и даже не знающая о том, что такие могут существовать? Еще бы! Ведь плоть, как тихий палач жизни, как ее вечный смотритель, как заедающий ее червь, как цовлеющее лишь ради давления — эта плоть неисправима.

А она ответит одно: я еще не умерла! И пока я не испустила свое последнее дыхание — но я верю, что за ним будет пауза, после которой я, на зло всем вам, начну дышать вновь — я буду вам досаждать. Так слушайте: меня ничего не остановит!

Нет, остановит. Ты просто есть тот старый паровоз, который, отбросив всякое управление, скорее предпочтет слететь с рельсов, чем стать под рычаг машиниста. Ты есть, попросту говоря, глупейшая из всей техники и бездарнейшая из всего живого. Что молчишь? Думай!

Сам ты бездарный! Я бы отдала на съедение лучшую половину себя, чтобы видеть, как тебя, насмехающегося надо мной, имей-горыныч, как правая рука бога... Господи! что я говорю? Іности меня, грешную!

Но тут я уже не буду связывать оборвавшуюся вдруг нить, чтобы не быть свидетелем заунывно-шакального нытья плоти, не только оплакивающей себя, сколько исподволь готовящейся к новому ползку. Я говорю: "не буду связывать", потому что я не какая-нибудь четвертая парка. А как иногда хотелось бы быть ею!